

## Глава 2

### Окончание гимназии. Университет /1893–1897 г./

Так Днепром и театром была заполнена лучшая часть нашего гимназического времени.

Наше отношение в гимназии, к процедуре получения аттестата зрелости, как к неизбежному злу, ярко проявилось в обстоятельствах окончания нами гимназии и, вызвавших по нашему адресу даже резко обличительные статьи в прессе. «Киевлянин» объявил, что хорошо юношество, которое входит в жизнь ворами.

Дело в том, что главную часть экзамена на аттестат зрелости составляли у нас так называемые письменные испытания по древним языкам, математике и словесности. Тема испытания выработывалась в Управлении учебного округа, для всех гимназий округа одна. Темы в пакетах за печатями округа хранились в окружной канцелярии и затем рассылались во все гимназии. Группа гимназистов нашего класса вошла в переговоры с одним ловким Киевским евреем относительно похищения «тем»; сумма вознаграждения была установлена в несколько тысяч рублей и собрана по добровольной подписке; в нашем классе оказался один только юноша, да и тот первый ученик-зубрила, который отказался принять участие в нашем предприятии. Еврею с большим риском удалось остаться в канцелярии попечителя Киевского округа на ночь под столом, вскрыть ящик стола, вскрыть пакеты, переписать темы и затем запечатать их на-ново и вообще привести все в порядок.

Таким образом, за несколько дней до экзамена, мы знали о чем потребуется писать и все заранее подготовились. Один я, абсолютно не интересуясь древними языками, которыми я владел совершенно свободно, спал в какую-то непонятную лень; сочинение на тему: «поэт в произведениях Пушкина» решил написать с экспромта, а задачу по алгебре прослушал невнимательно, слабо усвоил ее разрешение и ограничился тщательным, чисто-механическим подчеркиванием в сборнике логарифмов тех цифр, которые относились к задаче. Последнее обстоятельство и спасло класс от передержки все письменных испытаний: учебник /сборник логарифмов/ оказался старым со многими другими, кроме моих, отметок; я в них

так долго разбирался, что задача к сроку оказалась мною нерешенной. По древним же языкам весь класс так одинаково хорошо написал работу, что, в связи с возникшими в городе слухами о краже тем, была назначена переэкзаменовка. Только добряк Григоврович никак не мог понять, как могли стать известными ученикам темы, и возмущался назначенной переэкзаменовкой. Я помню с каким трепетом все экзаменующиеся, застыв в молчании, ждали торжественного объявления тем директором гимназии; этому предшествовал осмотр печатей комиссией учителей; когда пакет подносился к окну и все внимательно осматривали печать, водворялась гробовая тишина; всеми владела мысль незамечен ли какой-либо дефект в печати; затем, ожидание не надул ли ерей, та ли тема, которая была им нам сообщена. Все это само по себе издергало уже нервы гимназистов, а тут еще вторичное письменное испытание по древним языкам. Учителя поняли настроение экзаменовавшихся и не препятствовали на вторичном экзамене знатокам греческого и латинского языков открыто диктовать перевод; в числе этих знатоков был, конечно, и я; когда мы входили в актовъй зал, то за меня держался гуськом целый хвост товарищей, человек в двадцать; за другими тремя-четырьмя классиками-специалистами тянулись такие же группы; рассаживались за столы все группы, имея во главе своего, так сказать, лидера-знатока; я диктовал перевод своему соседу, он писал и одновременно читал следующему и т. д. по определенной линии. Экзамен, конечно, всеми был выдержан блестяще, а я за классические познания получил, как обыкновенно, удовлетворительные отметки и по математике.

Ощущение свободы, после окончания выпускных экзаменов, с такой захватывающей радостной силой, как весной 1893 года, никогда, вероятно, не повторилось бы в моей жизни, если бы через 25 лет мне не пришлось испытать равносильного счастья при освобождении от большевистского ига.

Окончившие гимназию, узнавались на улицах по их сияющим ... физиономиям, даже если на них не было свеженьких студенческих фуражек; почти все, в день выхода из гимназии, закурили только для того, чтобы продемонстрировать свое право курить на улице. Моя компания пировала, по поводу получения аттестата зрелости, где-то за городом, закончив кутеж на Жуковом Острове близ Китаева; не помню по какой причине я потерял свою компанию, кажется, потому, что бы занят приобретением штатского одеяния, но вспоминаю, какое ужасное впечатление и другой день произвела на меня физиономия Володи Ковалевского, который заснул после пирушки в лесу, положив голову на муравьиную кучу; лицо его стало раза в три больше нормального и все было покрыто красными прыщиками; особенно ужасен был нос; в довершение эффекта щеголял он почему-то в красной турецкой фреске и с громадным мундштуком в зубах.

Кстати о моем собственном костюме: я так хотел поскорее забыть о форменной одежде, что решил приобрести себе не студенческий, а обязательно штатский костюм; с этой целью я отправился в еврейский магазин готового платья — Людмера на Крещатике, где приказчик, вероятно, убедившись в моей полной неопытности в деле мод, посоветовал мне приобрести единственную во всем магазине пиджачную пару чисто розового

цвета: «вам все в Киеве будут завидовать», убежденно говорил он мне, и костюм был мною приобретен; такого костюма я, действительно, не только в Киеве, но и вообще нигде ни разу в жизни не встречал; я всю жизнь, до революции, берег на (Л. 74) память жилет от этого первого моего штатского одевания, самый же костюм утонул во время моих опытов плавания в одежде. К розовому костюму я не нашел ничего лучше, как приобрести синее пальто, желтую соломенную шляпу по названию «здравствуйте и прощайте» /с двумя козырьками/ и какой-то громадный пестрый зонтик; на глазах было водворено темно-синее пенсне, для большей солидности. Когда в яркий солнечный день я появился в таком наряде на Крещатике, большинство знакомых не отвечало на мои радостные поклоны: меня не узнавали и смотрели на меня с нескрываемым изумлением, а когда со мною встретилась моя тетка Леночка, она могла сказать только «ах», и ее добрые глаза исполнились слезами.

Но меня самого, при тогдашнем стремлении моем к протесту против всего общепринятого, костюм мой более, чем удовлетворял; он был эмблемой всего моего настроения, созданного гимназическим формализмом и беспорядочностью моего мирозерцания.

Случайно отбившись в день окончания гимназии от своей компании, я провел вечер в скромном ресторанчике «Север», против оперного театра, один, за бутылкой дешевого вина. Одиночество ли или реакция на первый бурно-радостный день свободы, но мне вдруг стало грустно; я стал сознавать, что закончена какая-то значительная часть моей жизни, что начинается нечто другое, новое и, быть может ответственное. Я задумался над тем, как малы мои знания, и мысль о необходимости доучиваться преследовала меня, мешая отдаться непосредственному веселью. Вернулся я домой печальный и вскоре засел за учебники географии, истории и даже алгебры. Так я начал учиться ... по окончании гимназии.

Что же в общем представлял я из себя на пороге Университета? Довольно хорошее, по моему возрасту, знание литературы, особенно русской и Шекспира, весьма незаурядное знание оперной музыки, сильно развитое, благодаря литературе и музыке, чувство национальной гордости, скептическое отношение к современному общественному и государственному строю, вера в социалистические (Л. 75) утопии, атеизм и сознание чувства долга по отношению к людям при одновременном стремлении ко всему экстравагантному, к какому-то «хулиганству» — вот, в общих чертах, как может быть охарактеризовано тогдашнее «я». Всем положительным я был обязан семье и внешкольным, так сказать, влияниям; всем отрицательным — влиянию, сознательному или бессознательному, современной мне системы обучения и воспитания в классических гимназиях.

Будущее мое «я» зависело, при таких условиях, от многих случайностей, предсказать его с уверенностью, мне кажется, было трудно.

Гимназия наша в пределах даже выпусков моего и моего брата, дала и ряд абсолютно честных тружеников, полезных России, и несколько типов в стиле героев Максима Горького, и людей без всяких принципов и полезной общественной роли, и, наконец, такого нравственного изувера,

как комиссар народного просвещения при большевистском режиме Луначарский; зародыши будущего были во всех заложены ещё гимназическим режимом, но развитие их в ту или иную сторону зависело от последующих влияний и в частности от Университета.

Прошло 25 лет и Киевская Императорская Александровская гимназия воспитывала уже в детях действительный, а не казенный, национализм и патриотизм; в ее стенах происходило то, что в мое время было немыслимо: рискуя всем, даже самой жизнью, все воспитанники гимназии продолжали исполнять родной гимн, вплоть до принудительного закрытия гимназии, а мой 14-летний племянник, задумав взорвать пороховые склады большевиков, был пойман и поставлен «к стенке» для расстрела, но затем неожиданно помилован и получил в наказание 25 ударов шомполами.

Новое время сумело воспитать еще в стенах гимназии истинные, а не казенные начала патриотизма. Другой близкий мне юноша — двоюродный брат Сережа, за стойкое исповедывание этих начал, был расстрелян большевиками. В среде сознательной молодежи этого времени уже не было циников, которые не понимали бы «удовольствия» (Л. 76) быть битым за идею, за то, что земля вертится».

Так за 25 лет изменились условия гимназического воспитания и жизни.

В университет я, как и все и всегда мало-мальски вдумчивые юноши, с гимназической скамьи, вступал с известной долей какого-то благоговения и надежды, что там, наконец, откроется для нас ряд истин; об упорной систематической работе, о том, что наука движется вперед чрезвычайно медленно постепенным завоеванием крупниц истины, требует для этого обыкновенных чернорабочих, а не гениев, которые, может быть, раз в век собирают воедино все крупницы, обобщают их и делают выводы, дающие новые теории и системы — об этом всем думалось, конечно, мало. Одним словом романтическое воспитание окрашивало в романтические краски и предстоящие занятия в Университете. Первые лекции в юридическом факультете произвели очень сильное впечатление, начиная от их содержания и кончая такими отличными от гимназических уроков мелочами, как обращение к нам: «милостивые государи», отсутствие вызовов к ответу уроков, серьезная тишина в аудитории во время лекций и т. п.

Вступительную лекцию читал, покойный ныне, Д.И. Пихно; это был известный экономист и публицист, издававший старейшую в Киеве русскую национальную газету «Киевлянин», перешедшую теперь к сыну ее первого учредителя В.В. Шульгину, члену первых трех Государственных Дум и популярному деятелю национальной партии. Д.И. Пихно был внешне плохой лектор; глухой голос, манера тянуть «е-е», пока найдется подходящее выражение мысли, повторение за подлежащим соответственного местоимения, например: «наука „е-е“ она» и т. д. Но все окупалось серьезностью и, главное, искренней любовью к науке профессора. Поэтому, несмотря на «левое» настроение большинства студентов, консерватор Пихно пользовался должным уважением. На первой своей лекции он дал нам понять значение Университета — *Universitas litterarum*, по сравнению с различными специальными учебными заведениями; здесь, говорил он,

читаются все науки; студенты в стенах Университета имеют возможность слушать лекции по любому, интересующему их предмету, а не только по своей специальности, а главное, путем постоянного обмена сведениями и мнениями с товарищами-студентами различных факультетов, расширять свой умственный кругозор. Пихно был прав: ни одно учебное заведение, кроме Университета, не дает больших возможностей к широкому гуманитарному образованию, к выработке цельного мирозерцания; специалисты — технологи, путейцы, электротехники и проч. работают гораздо усерднее и больше, но лучшие из них — обычно проходили раньше через Университет.

Я, воспользовавшись советом Пихно, прослушал ряд лекций на других факультетах, главным образом, на филологическом, предпочтение которому юридического, с моей стороны, весьма огорчило моих гимназических учителей-классиков. Известный славяновед профессор Флоринский, для чего-то расстрелянный теперь большевиками, живо заинтересовал меня славянским вопросом; большой интерес возбуждали во мне также лекции покойного Прахова по истории искусств. Зато две лекции по зоологии, кроме отвращения и скуки, ничего по себе не оставили; это был не мой любимец — живой образный Брем: серьезный, солидный профессор с седой бородой монотонным голосом рассказывал о том, как проявляется половая жизнь у пауков и у морских ежей; для оживления лекции он вдруг, не меняя серьезного выражения лица, жестам и походкой изображал паука, подкрадывающегося к паучихе. Тогда, на этой именно лекции, впервые у меня явилась мысль, впоследствии перешедшая в убеждение и определенное разочарование в методах Университетского преподавания, о бессмысленности дословного, подробного повествования большинством профессоров всего того, что содержится в учебниках.

На юридическом факультете самое сильное впечатление и влияние на нас имели лекции по теории права /в Киеве говорилось «энциклопедии»/ профессора Ренненкампа; он был ректором Университета в 80-х годах, при нем произошли серьезные студенческие волнения в Киеве, в его квартире студенты разбили тогда окна, считая его угнетателем свободного студенчества. Такие сведения о том или ином профессоре переходят, по преданию, Л.78 от одного курса к другому. И вот, несмотря на подобный формуляр Ренненкампа, первая же его лекция закончилась громом аплодисментов переполненной аудитории; то же повторялось и на всех последующих лекциях, несмотря на просьбы профессора не выражать ему одобрения, так как это запрещено правилами Университета. Удержаться от аплодисментов не было возможности, с такой талантливостью, так захватывающе ярко, ясно и образно преподносил нам профессор различные теории права и государственно-общественного строя. Р. ничего не читал нам из своего небольшого сухого учебника; он предназначался исключительно для того, чтобы вызубрить его к экзамену, на котором Р. ничего другого и не спрашивал, кроме помещенного в учебнике. Это был, так сказать, минимум сведений, обязательный для каждого среднего юриста; максимум, нужный для научного развития, давался на лекциях, каждая группа

лекций посвящалась одному философу права, одной теории; были проанализированы даже учения Руссо, Толстого. Вообще Р. подробно останавливался на утопических государственных и общественных течениях. Ему прежде всего был я обязан искоренением во мне увлечения мечтательно-социалистическими идеями. Это для меня и массы моих товарищей было весьма большим приобретением от Университета; мы впервые приучились мыслить и работать положительными научными методами. Сколько я в разное время впоследствии ни читал социалистической литературы, я всегда оставался социалистом постольку, поскольку дело касалось критики современного капиталистического строя, и переставал быть социалистом тотчас же, когда критика переходила к области положительного творчества, к области замены капиталистического строя каким-то другим, неведомым, фантастическим мечтанием, а не осуществимой действительностью. Я чувствую, что был прав уже по одному тому, что через четверть века, после лекции Ренненкампа, социализму удалось блестяще разрушить Россию, но совершенно не удалось положительное творчество.

Кроме Ренненкампа, я не пропустил ни одной лекции по истории права профессора Соколовского; это был красивый, с громким голосом, популярный в Киеве спортсмен; однажды он пробовал ходить даже по канату, сломал себе ногу и читал лекции Л. 79 кладя большую забинтованную ногу на кафедру; летом и зимой он ходил в пиджаке без пальто. Учебника его не было. На экзамене он требовал отвечать по записанным самими студентами его лекциям; это приучало быстро схватывать и записывать чужую речь, что впоследствии на службе оказалось весьма полезным при ведении журналов различных совещаний. Живой образный язык Соколовского, умение в каждой лекции дать связную логическую картину из законченной жизни правовых отношений на фоне внешних государственных событий великого народа, все это делало лекции по истории римского права особенно популярными, аудитория всегда была переполнена, меня же эти лекции привлекали еще, вероятно, и потому, что я слышал на них любимый мой язык — латинский.

Крупнейшую научную силу нашего факультета в Киевском Университете представлял знаменитый историк русского права Владимирский-Буданов, но читал лекции он так скучно, таким монотонным голосом, все время покручивая свои длиннейшие, спущенные вниз хохлацкие усы, что невольно на большинство слушателей нападала какая-то непреодолимая сонливость. «Замечаю, что многие спят», сказал однажды этот профессор таким спокойным размеренным, каким-то скандирующим голосом, не меняя тона его по сравнению с прерванным изложением сведений о каком-то древне-русском правовом институте, что только я и несколько студентов сидевших на первой парте, услышали это замечание; остальные продолжали мирно дремать или даже непробудно спать.

Все остальное, что читалось нам на первом курсе юридического факультета, было безнадежно скучно, нудно и даже не нужно, но об этом я буду говорить ниже. И так, увы, подобно гимназии, только отдельные лек-



ции, отдельные преподаватели говорили нам живое, интересное, нужное слово.

Тем не менее, на первом курсе увлечение Университетом и влияние его были сильны. Юноши искали истины, колебались, находили и теряли ее. Не забыть, как циник и бонвиван М. выскочил из физического кабинета, чуть не сбил с ног Володю Ковалевского и радостно-победоносно прокричал ему: «электричество есть?» Тот с недоумением подтвердил этот факт. Тогда М. заявил: «ну, так и Бог есть; ага!»

В такой период времени особенно нужны юношеству те, кто кроме сообщения ему сведений о пауках и ежах, могут способствовать, если не выработке мирозозерцания, то указанию путей, какими можно достигнуть этого. Вот почему, по рассказам моего брата, ломались аудитории от слушателей всех факультетов на лекциях, начатых в Киеве, после моего отъезда в Петербург, философом натуралистом Челпановым по философии и этике. Кто не находил, по вине профессоров или по собственному желанию, ответа на крупные вопросы, впадал в инертное состояние и жаждал только скорейшего получения диплома, формально вызубривая все, что по программе полагалось, или увлекался вне учебной деятельностью, подпольной политической, социалистической или украинофильской, ибо она не требовала упорного труда и была живее лекции о ежах.

Мои мысли а перемене факультета возникли под влиянием пристрастия моего к языковедению и так как, кроме лекций Ренненкампа и Соколовского, все остальное на юридическом факультете казалось мне скучным. В намерении поступить на Восточный факультет меня укреплял мой друг с первых классов гимназии Н.В. Катеринич. Часто, за бутылкой вишневки, мы проводили вечера в его уютной меблированной комнате с балконом на углу Михайловской улицы и красивейшей площади Михайловского Монастыря. «Ну, подумайте, дядя /философствуя, он всегда обращался на «вы»/, что нам дает юридический факультет? Уголовное право, гражданское право, полицейское право, финансовое право ... все право, да право, ничего для сердца; а кончим мы восточный факультет, все-таки увидим новые страны, людей — китайцев, японцев». Для того, чтобы отрезать себе се пути отступления, К. не пошел даже на экзамены и пода прошение в Петербургский Университет о приеме его на Восточный факультет, я же благоразумно все-таки выдержал благополучно экзамены на второй курс юридического факультета.

Осенью 1894 года, в день Тезоименитства Императора Александра III — 30 августа, я прибыл с бабушкой в Петербург, где прожил и проработал, с небольшими перерывами, двадцать лет.

Город, главным образом, своим поразительно строгим выдержанным стилем, мощностью и красотой Невы с ее гранитными набережными, разноцветными фонариками, отражавшимися в воде многочисленных (Л. 81) каналов и вообще нарядным праздничным видом табельного дня, произвел на меня громадное впечатление; с первого же дня я полюбил его, и потребовалось много лет работы, развлечения и усталости, чтобы меня потянуло в провинцию. После Киева Петербург — тоже любимейший мой город в

мире. Многие сразу /а иногда и совсем/ не замечают красоты нашей столицы; изобилие простых казарменных домов, унылый вид некоторых окраинных улиц, например, в районе Загородного проспекта, недостаток часто солнца скрывают от глаза самое красивое, что есть в Петербурге — его стиль, отсутствие дурного вкуса, мещанской вычурности. Известный художник поляк Семирадский, после долгого отсутствия из России, приехал из Рима в Петербург; у своего друга и однокашника по Академии Художеств П.О. Ковалевского, он часто восторгался Петербургом, изумляясь, как он мог в молодости не замечать художественной стильности этого города; «очевидно», говорил он, «надо развить художественный вкус, чтобы понять красоту Петербурга; в юности я совсем не видел того, что теперь вижу».

В первый же год моего пребывания в столице, мне пришлось видеть ее во всей ее величественной красоте в виду исключительных обстоятельств: похорон Императора Александра III и бракосочетания Александры Федоровны/. Стилю Петербурга более, по моему мнению и вкусу, подходит печаль; траурные лампы, с поднимающимся к небу черным дымом на фронтонах Александринского Театре и других зданий, окутанные черным крепком электрические фонари, дававшие мрачное освещение длинным прямым улицам города, какая-то особая тяжелая тишина их — все это действовало на нервы, и несмотря на тогдашнее мое антимоноархическое настроение, заставляло чувствовать где-то в глубине души, что в России, для русских, произошло какое-то действительно крупное событие, умер действительно кто-то сильный и мощный, а может быть и нужный России. У здания Городской Думы вывешивались объявления о ходе болезни Александра III; с каждым днем объявления эти делались тревожнее: пульс и дыхание ухудшались; у объявлений толпилось всегда много народа; по дороге в Университет я ежедневно прочитывал (Л. 82) их; 21 октября объявление было окружено особенно большой толпой, я не мог его прочесть, но уже знал, что Царь скончался; под вечер я его прочел: «Император Александр III тихо во Бозе почил»; подошел какой-то глубокий старик — отставной фельдфебель, долго читал объявление старческими глазами, вдруг горько зарыдал и опустился на колени.

У меня и моих товарищей было ощущение радости, что в России новый Царь, к которому определенно тогда говорили, как о стороннике либеральных реформ, конституции. Но печаль масс и траурный вид города как-то нарушали эту радость; начинались сомнения, которым, под влиянием последующих событий в моей жизни, суждено было через несколько лет перебросить меня в другой противоположный лагерь, сторонников самодержавия, которые, независимо от той или иной их политической программы, получили, кажется в 1905 году огульное название черносотенцев.

Осеннее торжество Петербурга — бракосочетание молодого Императора, менее, с эстетической стороны, захватывало, чем печальный день похорон его отца. Я был на Невском, по обеим сторонам которого стояли толпы народа. Царь с молодой женой медленно ехал в раззолоченной карете /он, очевидно, и тогда не любил ничего деланного/; одной рукой он все время как-то машинально покручивал усы. Изумило меня также, что вдов-



ствующая Императрица Мария Федоровна, следовавшая отдельно тоже в золотой карете, приветствовалась с гораздо большим энтузиазмом, чем молодая чета; к карете бросилась толпа людей, в том числе много студентов, они бежали за ней и кричали «ура»; Царица ласково раскланивалась. У Аничкова дворца, куда проследовал Царь с супругой, начал скопляться весь народ, стоявший по пути его следования; я был общим течением увлечен туда же; полиция, боясь, вероятно, чтобы не было случаев падения в Фонтанку, загородила дальнейший выход от дворца; между тем, не знавшие об этом ограждении, пробирались со всего Невского ко Дворцу; становилось все теснее; за пением гимна и разных русских песен, почему-то, между прочим, и «Дубинушки», крики к подходящим: «повернуть назад», заглушались; дышать было все Л.83 тяжелее и тяжелее; я чувствовал, как сжимается грудная клетка; видел рядом с собой совершенно бледное лицо В. Ковалевского; видел невероятно растерянное лицо Н. Катеринича; он, типичный полтавский помещик, любитель покоя и тишины, с первых дней возненавидел шумную столицу с ее, необычным для провинции, уличным движением, даже крик кучеров «поди» он принимал, как нечто лично оскорбительное; переходя Невский, он обычно зажмуривал глаза и кидался стремглав в гущу экипажей и пешеходов, как пловец в бурную реку; понятно, что беспорядок, давка, пение, крики и стоны перед Дворцом, привели его в состояние полной растерянности и негодования; я думаю, что это торжество, главным образом, повлияло на его решение вернуться в любимый, в то время очень тихий, Киев. Я выбрался из толпы, постепенно проталкиваясь кверху, по головам ее, и с тех пор получил навсегда отвращение к уличным сборищам; Катеринич или Ковалевский прибегли к моему способу, а другому удалось влезть на фонарь возле дворца, где он заседал до восстановления порядка, когда полиция, наконец, открыла пропуск через Аничков мост на Фонтанке.

Сильное впечатление произвели на меня также похороны А.Г. Рубинштейна; я никогда не мог себе простить, что по приезде в Петербург не пошел на объявленный им концерт; думал, что их будет еще много, успею. И вдруг известие о смерти великого пианиста. Печальная процессия прибыла в Александро-Невскую Лавру, в сопровождении массы народа, только к вечеру. Один архимандрит в полумраке оступился, сходя с высокой могилы, и упал на меня. Затем осталось у могилы только светское общество, и вот откуда-то, в сумерках кладбища, раздалась красивая декламация: «он слышит райские напевы, небесный свет теперь ласкает бесплотный взор его очей».

С первых же дней приезда в Петербург началось хождение мое с бабушкой по музеям, главным образом в Эрмитаж, в ботанический сад и т. п.; бабушка неутомимо сопровождала меня и тетку и давала нам разные объяснения; это было продолжением моего художественного образования, и стало пусто и грустно, когда остался один, а мой старый друг и учитель жизни, с которым я почти никогда до того времени не разлучался, уехала к себе в Китаев, после чего до самой смерти в 1910 году я встречался с нею уже только на каникулах, да при сравнительно редких ее приездах в Пе-

тербург на месяц-два; писали мы друг другу еженедельно всю жизнь, часто по-французски для практики в языке.

Петербургский Университет прежде всего удивлял, по сравнению с Киевским, несмотря на более внушительный внешний вид последнего, своею, так сказать, подтянутостью, чистотой не только аудиторий и коридора, тянущегося бесконечно во всю длину Университета — здания бывших Петровских коллегий, но и самих студентов; в отличие от провинциалов, они, большинство, по крайней мере, носили не синие воротники на куртках, а темные, иногда почти черные, были более корректны и вообще лучше воспитаны, не плевали, например, на пол, как это практиковалось в грязных коридорах Киевского Университета, в массе говорили на чисто русском языке, здесь не было слышно ни еврейского гортанного говора, ни киевского хохлацко-польского волапюка; здесь уже нельзя было бы Колоколову, который тоже почему-то решил временно сделаться столичным жителем, дразнить «куллег», как говорил он, подражая Киевскому говорю, прося их передать «хурчыцю» и т. п.

Аудитории Восточного Факультета помещались в верхней изолированной, какой-то получердачной, пристройки Университета; восточников, особенно на китайско-монгольском отделе, который избрали мы с Катериничем, было очень мало; большинство предпочитало турецко-монгольскую группу. Катериничем овладели сомнения еще до приступа к занятиям; «ведь, знаете ли, дядя, пожалуй, что эта китайская наука здорово трудна будет; ведь подумайте-ка простое слово че-су-ча, а черт его знает, что это может значить», говорил он мне озабоченно, идя в Университет. В вестибюле восточного факультета, на несчастье, а может быть счастье К., было выставлено объявление с темами письменных испытаний для третьего курса китайской группы; требовалось перевести или (Л. 85) разобрать критически какое-то сочинение, название которого было чрезвычайно многосложно: «фи-фу-ци-дзы-во» и т. д. читал медленно Катеринич, выражая на лице своем постепенно неподдельный ужас. Перед входом в аудиторию, он с печальной улыбкой проговорил мне только: «Да, попали мы с вами, дядя, в хорошую историйку». Лекция была, кажется, японца Иосибуми-Куроно; я записывал что-то и не заметил, как Катеринич вышел из аудитории до конца лекции. В этот день на других лекциях я больше его не видел, а придя домой, от тетки узнал, что у не был К. веселый, бодрый, так как уже зачислен на первый курс юридического факультета: «помилуйте, говорил он тетке, ведь с этим фу-дзы-пу и т. п., приедешь в Китай и хлеба не сумеешь попросить». И хорошо сделал этот, безумно любивший свою родную Полтавщину, человек, что не оторвался от нее и на родине сделался любимейшим мировым судьей, не столько судя, сколько утешая своих клиентов в различных их личных горестях; любители поговорить и пожаловаться хохлы и евреи, изливали свои души ему, а чтобы он делал будучи оторван от родной обстановки?

Мне восточная филология давалась легко; за 1 1/2, кажется, месяца я знал уже 600 китайских иероглифов, а для обычной обиходной речи их требуется всего 3500–3000; кажущаяся с первого взгляда трудность изучать

всего отдельно начертание каждого слова облегчается впоследствии множеством производных слов и их начертаний: например, зная слово дерево, уже совершенно легко и просто пишешь слово лес, утраивая знак дерева, и т. п. С интересом я слушал лекции по истории востока профессора Веселовского, который в первых своих лекциях очень горячо и настойчиво советовал оставить восточный факультет всем тем, кто не чувствует себя склонным к науке и рассчитывает на какие-то практические выгоды от окончания этого факультета. Отчасти профессор был прав: для службы по ведомству иностранных дел в азиатских странах не требовалось, конечно, окончания специального факультета; язык страны легче всего можно было изучить на месте или в соответственных иностранных миссиях; факультет скорее всего имел, конечно, в виду подготовку ученых ориенталистов. Однако, все это было верное лишь отчасти; я впоследствии встречал нескольких (Л. 86) весьма дельных наших консулов в Японии, получивших образование именно на восточном факультете, после окончания, большей частью, духовных семинарий; в дипломатическое ведомство их не пропускали; там требовались и связи и внешний светский лоск /держался даже, так сказать, экзамен по хорошим манерам/, но ведь и консульская служба в восточных странах была и занимательна, и ответственна. Вообще на Восток, на Азию в русских учебных заведениях обращалось сравнительно мало внимания только по недоразумению, потому, что наши программы копировались с западноевропейских; мы больше знали о каком-нибудь Фридрихе-Барбароссе, чем о современных Китае и Японии, наших главнейших и важнейших соседях. О невежестве правительства и общества в дальневосточных делах, мне придется говорить подробно ниже в моих служебных воспоминаниях. После речей профессора Веселовского ряды наши редели.

С большими знаниями и умением заинтересовать, читал свои лекции знаменитый монголовед проф. Позднеев; тоже поверхностная кажущаяся трудность монгольского письма сверху вниз и с краев на лево, быстро преодолевались после первых же десяти-пятнадцати уроков.

Тем не менее, несмотря на легкость изучения и интерес к восточным лекциям, и я стал жертвой сомнения и уговариваний выбрать более живое дело, чем азиатская филология. Многие из моих Киевских товарищей, в особенности будущий адвокат А.А. Кистяковский, горячо убеждали меня вернуться на юридический факультет, говоря мне, что теряя время на зубрение азиатских языков, я отстану по развитию от других, к концу Университета буду невеждой и даже идиотом, за неимением времени для чтения. Меня увлекали на юридические лекции, я услышал действительно блестящие по логике сообщения государствоведа Коркунова и образные по форме изложения высоко-содержательные лекции знаменитого историка русского права Сергеевича. Я не сообразил тогда, что все заинтересовавшие меня дисциплины входят и в программу Восточного факультета /кроме истории русского права/, где читалось государственное и международное право, что юридический факультет, в конце концов, львиную долю уделяет уголовному и гражданскому праву, имея, по-видимому, в виду, главным образом, готовить будущих судебных деятелей. Очень искренние и горячие указания

на будущий мой идиотизм привели меня поэтому к решению бросить восточный факультет. С большими затруднениями я был принят на второй курс юридического факультета; ректор, впоследствии академик, Никитин противился моему переводу и настаивал на возвращении моем в Киев, так как тогда действительно практиковалось провинциальными студентами, желавшими перейти в столичный университет, зачисление на восточный факультет, имевшийся только в Петербурге, если не считать специального Лазаревского Института восточных языков в Москве.

Коркунов имел на меня громадное влияние, явившееся прямым продолжением того переворота в моих утопических взглядах, который начался в Киеве под влиянием лекций Ренненкампа. Я познал и почувствовал всю сложность государственного организма, понял с какой осторожностью, во избежание катастрофического разрушения, надо подходить к перестройке форм, складывавшихся веками, над которыми думал и работал ряд великих умов человечества.

Одним словом, от анархических и социалистических начал, усвоенных в гимназии, я переходил к либерально-эволюционным взглядам, покоившимся на основе положительной науки. Тогда много шума в научных кругах наделала докторская диссертация Коркунова на тему «Указ и Закон». Выступавший в числе оппонентов, проф. Сергеевич заявил, что он прочел работу Коркунова и не мог найти ни одного возражения, прочел во второй раз и им овладели некоторые сомнения, прочел в третий раз и только тогда понял, что Коркунов совершенно не прав; такова сила его логики. Не удивительно, что для меня Коркунов был непогрешим во всех его взглядах.

Но, к сожалению, Коркунов и Сергеевич, если не считать отдельных лекций некоторых других профессоров, оказались и в Петербургском Университете исключениями. Уголовное право читалось при мне выдающимися криминологами Сергеевским и Фойницким, но этот предмет никогда не мог меня сильно заинтересовать и (Л. 88) увлечь. Международное право читал пользовавшийся большой известностью в своей области проф. Мартенс; профессором гражданского права был чрезвычайно живой, во французском стиле, проф. Дювернуа, в темные петербургские утра, приветствовавший обычно аудиторию словами: «добрый вечер, господа». Подавляющее большинство профессоров читало скучно, нудно свои собственные учебники, некоторые с красивыми ораторскими приемами, например, экономист Исаев, другие, не имея абсолютно никаких данных для публичных выступлений, например «мекавший» и тянувший речь финансист Ходский. Но даже те, кто красиво излагал лекции, как Исаев, возбуждали во мне недоумение, для чего нужно им собирать нас, чтобы с чувством произносить такие трюизмы, что «труд, милостивые государи», бывает производителен только тогда, когда он интересен и т. д. и т. д. — все эти общие места ученической политической экономии, нужны для логической связи основных положений учебника, но ведь всякому давно известно, обычно прочтенные еще на гимназической скамье. Я, кончив юридический факультет, так до сих пор и не в силах понять системы университетского преподавания; в ней, несомненно, кроется какой-то органический недо-

статок, в ней нет «духа живого». Думаю, если бы каждый профессор ограничивался сравнительно кратким введением в науку, знакомил только с ее целями и методами, предлагал студентам записать библиографию и дома прочесть такие-то и такие-то труды, а затем брал какой-нибудь один отдел или даже вопрос, ну, например, нашумевший в свое время, о выгодности для крестьян низких или высоких цен на урожай или, шире даже, о каптале по Марксу, и научно подробно разрабатывал перед слушателями этот вопрос, вместо дословного повторения экзаменационного учебника, несомненно слушатели его с гораздо большим вниманием относились бы к лекциям и нагляднее усваивали бы методы научной работы. Этой системы и с блестящим успехом придерживался, как я говорил, проф. Ренненкампф.

Кроме того, что меня поражало в программе юридического факультета и что также до сего времени остается для меня непонятным — это почти полное отсутствие изучения тех правовых норм, того правового строя, которые относились к главной массе (Л. 89) русского населения — крестьянам; условия их освобождения от крепостной зависимости, землеустройства, переселения, волостного суда — об этом в стенах Университета или ничего не говорилось, или говорилось вскользь. Когда я уже был относительно пожилым человеком, впервые появился научно отработанный, хотя и под партийным углом зрения /кадетской партии/ учебник Крестьянского права, составленный б[ывшим] правителем канцелярии Киевского генерал-губернатора Леонтьевым; научные звания были даны, затем б[ывшему] ревизору землеустройства А.А. Кауфману за его работу «Переселение и колонизация» /он, будучи уволен от службы в Министерстве Земледелия, получил за старую его работу сразу степень доктора политической экономии /и профессору Киевского Университета А.Д. Билимовичу, темой своей магистерской диссертации избравшему столыпинские землеустроительные реформы.

Над всеми предметами, как я говорил уже, преобладали на юридическом факультете судебные науки; это тоже неправильно; не все ведь готовятся к адвокатуре и магистратуре суда. Ясно, что юридический факультет должен был бы иметь два отделения, чтобы дать возможность выделить группу, не желающую специализироваться по уголовщине или вообще судебной работе. Почему для получения диплома 1-ой степени требовалось иметь отличные отметки по уголовному и гражданскому праву, а не по государственному? Ясно, что мы имели не юридический, а судебный факультет, подобно училищу Правоведения.

Наиболее всегда интересующая студентов практические занятия были в мое время весьма редки; я припоминаю чтение в Киевском Университете источников римского права, да некоторые рефераты по политической экономии и в Петербургском — разбор судебных дел, который приватдоцент Тимофеев обставлял, как настоящие судебные заседания, с участием присяжных заседателей, прокурора и защитника. Такие занятия очень полезны; так как приучают студентов говорить публично и владеть собою при возражениях за время пребывания в Университете, многие, живя скромной замкнутой жизнью и не бывая в обществе, совершенно отвыка-

ют говорить, так как им не приходится даже отвечать публично уроков, как в гимназии; на экзаменах конфузятся, теряются. А между тем, для (Л. 90) юриста, умение говорить и спокойная находчивость — обязательное условие его профессии. На одном из процессов, устроенных Тимофеевым, защитник, обращаясь к присяжным, закончил свою речь словами Сталь: «все понять — все простить». Обвинитель подхватил эти слова и во второй своей речи, заявил, что он всецело разделяет мысль госпожи Сталь, но так как из речи защитника понять ничего нельзя было, то ясно, что и о прощении не может быть и речи. Защитник счел этот выпад за личное оскорбление; студентов пришлось мирить. Нет сомнения, что лучше на университетской еще скамье приучить к спокойствию в подобных случаях, к умению на остроу ответить остроутой, а не раздражением.

Итак, в общем, я должен признать, что Университет, если далеко не в той мере, как гимназия, все-таки в учебном отношении значительно разочаровал меня, в особенности недостатком в его программе и методах живых национальных начал.

Что касается, так сказать, внеучебной части университетской жизни, то часто бывшие студенты вспоминают об этом с большой любовью, в роде того, как институтки о своих подругах, увлечениях и т. п. Я же лично мои впечатления от этой стороны студенческой жизни могу определить только, как самые отрицательны: сходки, манифестации, кружки — все это возбуждало во мне неизменно отвращение, очевидно, как просто органически мне чуждое.

Знакомство мое с кружковщиной началось еще в гимназии; как-то, поздно вечером раздался звонок и ко мне ворвался экспансивный мой приятель — еврей, бывший тогда в художественном училище. Что случилось, спросил я. «Ну-у, ты знаешь, где я был сегодня?» начал он, захлебываясь, и назвал один студенческий кружок. «И ты знаешь, что я узнал там? Я узнал, что нет Бога!» Он очень был недоволен, что я с полным спокойствием отнесся к этой неожиданной новости, заявив ему, что для меня в этом ничего нового нет, но настоял все-таки на том, чтобы я познакомился с председателем кружка, так как он, мол, очень заинтересовался мною, узнав, что я абитуриент, т. е. в этом году кончаю гимназию. Через несколько дней знакомство состоялось, (Л. 91) председатель отнесся ко мне не без покровительственной важности; осведомился какой я выбрал факультет, сознательно ли сделал выбор и, слово за слово, я вдруг во всем нашел собеседование, почувствовал что-то знакомое, не внешнее, но по духу, по тому настроению, которое мною овладело; у меня перед мысленным моим взором начала вырисовываться фигура, манера говорить гимназического законоучителя; ханжеством, лицемерием, мертвой схоластикой, а не живым словом повеяло на меня. «Ну, что, каков?» восторженно обратился экспансивный мой приятель, по уходе нового «учителя». Я грубо выругался, и добрый П. пытался объяснить это мое настроение завистью. Сколько потом, в стенах Университета ни встречал я разных председателей, представителей, старост и т. п., я не мог отделаться от впечатления какой-то внешней елейности, благонамеренности с точки зрения известной пар-



тийности и того, что я больше всего всегда ненавидел в жизни — шаблонности, соединенной с лицемерием. Одна и та же манера говорить, один и тот же внешний вид как в сравнительно серьезных случаях, так и при такой, например, мелочи, как обращение к обедающим в студенческой столовой: «реagirовать на происшедшее несчастье: у одного из посетителей украли пальто по недосмотру швейцара; бедняку угрожает вычет из жалования; он надеется на нашу помощь». Все это произносится как-то аккуратненько, с спущенными вниз глазами, со скромностью, свойственным честным, благородным юношам, и, кажется, вот-вот услышишь сейчас гимназическое: «деточки, побеседуем сегодня на тему...»

Все, что не подходило, хотя бы по внешнему виду, к «утвержденного образца» форме, вызывало какой-то нетерпимый гнев. Мой товарищ-циник К., возбуждавший, своей манерой говорить, отвращение в гимназическом законоучителе, встретил такой же прием и на студенческой сходке. Почему он, вопреки своему эгоистическому квиетизму, вдруг решил принять участие в общественном деле, я не помню; когда он взошел на кафедру, он произнес только одно слово «товарищи, я...»; сразу же раздались крики «Долой, долой» — только за манеру его говорить; он успел прокричать с кафедры совершенно спокойным тоном: «ну, так и ...» далее общее упоминание родительниц всех присутствующих — это было (Л. 92) гадко, но как нарушение шаблона, как протест против удушающей благонамеренности, приветствовалось всей здоровой, живой и жизнерадостной частью молодежи. Любитель комического оживления общества и враг пошлой скуки Колоколов неизменно посещал лекции 19 февраля, которые, несмотря на постоянные протесты студентов, читались по какому-то странному упорству учебного начальства, в этот великий для России день; лекции посещались двумя-тремя студентами; во время чтения лекций в коридоре шумели, таранили чем-нибудь дверь аудитории и т. д.; по выходе же профессора и слушателей из аудитории, им приходилось проходить через шеренги студентов, свиставших по, мене прохождения мимо них «виновных» лиц; Колоколов, гордо подняв голову в сознании исполненного долга, с невероятными гримасами раскланивался направо и налево и приговаривал бессмысленно «ну, и товарищи, ну и куллеги». «Образцовые» представители и старосты страшно негодовали на эти выходки К., моя же компания радовалась по поводу его смелости, не смотря на наше несочувствие чтению лекций в день 19 февраля.

Различные манифестации на улицах сопровождались обычно таким тупым озверением лиц у жожаков, такими грязными ругательствами, что уже одна внешняя стороны их возбуждала отвращение.

Оскорбляло меня, так называемое, «передовое» студенчество, в котором сильно было влияние инородческого элемента, также в развитом во мне и никогда не изменявшем чувстве национализма; последний считался, с точки зрения интернациональных задач молодежи, чем-то в роде дурного тога, а для окраинной нашей молодежи, по крайней ее непоследовательности, представлялся враждебным именно национальным стремлениям окраин.

Как-то раз, знакомый студент-поляк из Варшавы, протянул мне книгу журнала «Русское Богатство» и с улыбкой сказал: «оказывается, прекрасный журнал, кто бы мог подумать, судя по названию?»

Не останавливаясь на дальнейших подробностях, могу сказать одно, что студенческие организации сыграли для меня такую (Л. 93) же роль, как гимназический формализм и лицемерие; гимназии я обязан был отращиванием от религии и власти, студенчеству — от какого бы то ни было политиканствующего, в особенности утопического, либерализма, от партийной предвзятости. Думаю, что отчасти из духа противоречия, отчасти от оскорбления во мне моего национального и эстетического чувства, возненавидел я в конце концов все вообще чаяния студенчества, включительно даже до такой мелочи, как требование разных сходок о «допущении женщин в университеты», кстати сказать, переполненные в то время сверх всякой нормы, и т. п.

Одновременно у меня начало развиваться обожание молодого Императора, в духе описанного Толстым преклонения молодого графа Ростова перед Александром I. Царь тогда свободно гулял по улицам, его иногда окружала толпа; раз, провожая Алису Гессенскую из Аничкова дворца во дворец В. Князя Сергея Александровича, он был так отеснен толпой, что просил «дать ему возможность довести домой его невесту». Однажды, я с одним товарищем стоял на Дворцовом мосту в ожидании проезда экипажей, когда медленно почти рядом с нами проехал Государь в маленьких открытых санках; мой бравый товарищ как-то испуганно и молодежато вытянулся и взял под козырек, а когда Государь проехал, фатовато заявил мне: «как досадно, так близко, будь револьвер можно было бы убить тут же». Мне стало противно и я, именно, кажется, с этого дня начал смотреть на Царя какими-то иными глазами, видя в нем того Представителя России, которого надо беречь, который каждый день рискует жизнью, за то, что родился ее Представителем.

Пощечина, данная на экзамене каким-то студентом 2-го курса моему любимцу Коркунову, в то время, когда я держал выпускные экзамены, сильно тоже повлияла на меня; студент три раза тянул билет и ни разу ничего не мог ответить. Коркунов вскоре после этого стал болеть нервным расстройством, приведшим его к безумию, а затем к могиле.

К концу четвертого курса я был уже консервативных политических убеждений и предполагал выбрать себе военную карьеру, либо служить по Министерству Внутренних Дел.

Что касается моей частной жизни в Петербурге, то она, как и в Киеве, была заполнена, главным образом, театрами и отчасти, товарищескими кутежами.

В опере тогда были такие певцы, как М. и Н. Фигнеры, Л. Яковлев, Тартаков, Долина, Славина, Больска и др.; попасть в Мариинский театр стоило больших трудов; первые годы приходилось даже заказывать билеты по почте, так как в кассах они не продавались. Самая обстановка Императорского театра не имела той простоты и уюта, к которым мы привыкли в провинции. Первое же или одно из первых наших появлений в наряд-

ном Мариинском театре вызвало нападение на нас театральной полиции. Давали оперу «Ромео и Джульетта», в которой так незабвенно ярок был Н.Н. Фигнер. Я слышал и до него и после него довольно много певцов с лучшими головами, но ни одного, который мог бы изгладить в моей памяти особую «Фигнеровскую» манеру произносить каждую мелкую, у других незаметную, музыкальную фразу. «Друг мой милый», зовет ночью под балконом Ромео-Фигнер Джульетту, и в этих трех словах столько нежности, сдержанной страсти и какого-то особого настроения южной ночи, что не можешь себе дать отчета, какими артистическими средствами достигается столь сложный художественный эффект. А крик Фигнера в последнем акте в склепе: «жива моя Джульетта» — как в нем были смешаны и радость, и испуг! Я десятки раз слышал Аиду до Фигнера, но впервые от него узнал красивую, обычно заглушаемую хором и оркестром; «о эти слезы из глаз драгоценных», в картине триумфа Радамеса. «Что значат эти слезы?», говорит Герман в «Пиковой Даме», когда происходит сцена объяснения его с Лизой; опять-таки, только у Фигнера тонко передавалось одновременное и изумление, и радость. Фра-Диаволо-Фигнер, только он умел таким смешанным тоном сомнения и надежды, спускаясь с гор, среди которых ждала его засада, спрашивать «Пеппо, ты один?» И много-много других драгоценнейших миниатюр оставил этот славный артист-певец в памяти тех, кто умел насладиться музыкальной драмой. Само собою разумеется, что наша Киевская компания, под впечатление Фигнера и роскошной, по сравнению с провинциальной, обстановкой Мариинской ... сцены, мощного оркестра под управлением Направника и столь же мощного хора, находилась все время в приподнятом настроении; мы были не на излюбленной нами галерее, куда достать билеты можно было только с величайшим трудом, а в ложе, чуть ли не шикарного бельэтажа. Наши обычные киевские крики, уже сами по себе не могли не шокировать столичной публики, а тут еще Колоколов с его страшно пронзительным голосом и невероятными гримасами. После сцены в саду, где стража Капулетти, ищет с фонарями пробравшегося на свидание Ромео, главу каковой стражи изображал бас Майборода в каком-то то зловеще красном плаще, Колоколов неистовым голосом начал вопить «Июнь-усы», переделав так тотчас же фамилию «Майборода». В ложе появилась полиция; К. уверял, что он после России не видел еще такого артиста, как «Июнь-усы», смиренно извинялся, что перепутал немного месяцы и бороду с усами и т. п., но все-таки пришлось в дальнейшем сидеть тихо и прилично, во избежание изгнания.

Вообще, Императорские театры, давая очень много в эстетическом отношении, никогда, по интимной теплоте и живой связи молодежи со сценой, не могли для нас заменить родного Киевского театра.

Чтобы не возвращаться более в моих записках к музыке и театру, я должен упомянуть, что в мое время и драматический театр Петербурга — Александрийский, изобиловал первоклассными талантами, а потому на всю жизнь оставил по себе самую теплую память, соединенную с горячей благодарностью. Варламов, Давыдов, Сазонов, Савина, Дальский, Стрельская, а позже Комиссаржевская — были украшением этого театра; в испол-

нении русских классиков, в особенности Островского, ими достигалась величайшая художественная простота и естественность. Представить себе, например, Петербург моего времени без дяди Кости Варламова, было как-то совершенно невозможно; самое появление его на улице, самая простая фраза, сказанная им, вызывали уже добрый жизнерадостный смех; помню, как, проходя мимо Александрійского театра, я часто видел Варламова, выходявшего из театра, после репетиции: «извозчик, подавай-ка» раздавался на всю площадь его ласковый чисто-русский голос, и все проходившие мимо невольно весело улыбались.

Ярче всего в моей эстетической памяти сохранилось почему-то исполнение Тургеневского «Завтрака у предводителя дворянства». Неподражаем в этой пьеске был Сазонов; появлялся очень скромный, благовоспитанный полковник в отставке, почтительно просил предводителя, как отца дворян, заступиться за него по делу о каком-то пропавшем баране; со скромной готовностью затем соглашался, по предложению предводителя, принять участие в разборе земельной распри между соседними помещиками — братом и сестрой, и вот, по мере тупого упорства последний ... из кроткого человека постепенно преображался в раздражительного грубияна, кончающего иступленным криком на «упрямую бабу»; удивительно тонко была отделана эта роль у вообще поразительного по своему разнообразию Сазонова.

Постепенно сходили в могилу великие таланты Александринского театра, и о смерти каждого из них узнавалось, как о смерти какого-то близкого человека; теперь один только старец Давыдов, величайший комик русского театра, заканчивает свою жизнь на большевистской сцене большого Императорского театра.

В Петербурге к оперному и драматическому искусству добавилось для меня еще наслаждение симфоническими концертами и балетом. В Киеве симфонические собрания были тогда сравнительно редки; дирижировал ими весьма талантливый и невероятно живой, по его темпераменту, Виноградский, управляющий Киевским отделением Государственного банка. В столице мне пришлось, конечно, слышать очень много первоклассных дирижеров, как иностранцев, так и русских, но в особенности памятны мне и дороги по полученным впечатлениям, так называемые «Беляевские» концерты, на которых исполнялись новые произведения членов «могучей кучки», часто под управлением самих авторов: Римского-Корсакова, Лядова, Глазунова, Кюи и др. Концерты эти тогда еще не были в моде; абонемент на хорах Дворянского Собрания стоил, кажется, рубля четыре, если не дешевле; громадный зал Собрания почти пустовал; я и злился на косность нашей публики, и радовался, что имею возможность с такими удобствами, не в обычной духоте (Л. 97) и толкотне, слушать произведения наших великих композиторов, да еще и видеть их самих. Тогда впервые я познакомился довольно хорошо с русской симфонической музыкой, в частности, с замечательными симфониями Танеева, рассказы о котором моей матери слышал еще в детстве; его опера «Орестея», как показалось мне, выдающейся красоты, в которой впервые выделился мощный тенор Ершова, приобретший затем славу в операх Вагнера, прошла на Мариинской сцене

почему-то раза два-три и больше никогда не возобновлялась; между тем, насколько я помню, музыка Танеева необыкновенно красиво гармонировала с сюжетами древне-греческой трагедии; как шедевры, остались у меня в памяти, сцены мрачных предсказаний Кассандры и преследования Ореста эринниями — угрызениями совести. Почему Каменный Гость и Орестя нигде никогда не исполняются — я решительно не могу понять.

Вагнер, к которому столичные наши театралы относились в начале весьма скептически или как к какому-то скучному курьезу, стал потом очень популярен и понятен. «Кольцо Нибелунгов» — это величайшей красоты музыкально-драматическое произведение, давалось в последние годы уже ежегодно в течение всего Великого Поста, при заранее распроданном абонементе. То же произошло и с концертами «кучки», на которые впоследствии все билеты распродавались заблаговременно. А в мое молодое время бывали такие, например, курьезы: приезжает в столицу из Одессы бывшая оперная певица, известная на юге учительница пения; по просьбе моей матери, я взял на себя роль чичероне этой артистки; сопровождал ее в театры; между прочим, были мы на «Майской ночи» Римского; она очень изумилась, что им написана такая «милая» опера и кстати рассказала, что он приезжал в Одессу, причем фамилия его, как директора, печаталась жирным шрифтом, как какой-нибудь знаменитости, хотя «у нас», говорила эта учительница пения, «никто о нем ничего никогда не слышал; нас это возмущало, а между тем он, действительно, оказывается, пишет оперы». Таково было тогда музыкальное невежество; впрочем Одесса и одесситы в этом отношении особенно всегда славились, в виду космополитического населения этого города.

К балету, этому изящнейшему сочетанию пластики с музыкой, я привыкал, как я уже говорил ранее, постепенно, но в конце концов сделался страстным балетоманом. Я был на всех почти первых ученических дебютах будущих мировых звезд: Павловой II, Карсавиной и др. и гордился тем, что сразу же предсказывал им блестящую их карьеру. Лучшего сложения, большей красоты тела при пропорциональном развитии всех частей его без утрированной безобразной мускулатуры цирковых борцов, нельзя себе представить, чем на сцене наших Императорских балетов. Такие группы, такие отдельные скульптурные движения, как давали Гердт, Легаты, Кякшт и др. доступны только первоклассным произведениям знаменитых скульпторов.

Менее я интересовался выставками картин, хотя и жил долго в Академии Художеств, в семье художника. Там мало было действительно захватывающего; отдельные шедевры подавлялись обычно массой утомительно-шаблонных произведений. Только выставка картин Нестерова, да Всероссийская портретная выставка, дали мне впечатление равное тому, которое я получал от музыки. Пресса выставку Нестерова назвала торжеством «правых». Это действительно была по духу национальнейшая выставка: девушка на Волге с задумчивым русским лицом в платке, на холме, внизу река, ночные огоньки на пароходе; затем, Соловецкий монастырь; наш северный пейзаж в сотнях разнообразных поэтичнейших образцов, наконец, знаменитая «Святая Русь», где холмы, березки, люди — самые на-

стоящие русские и Христос в сиянии — такой именно, каким привык его представлять себе народ, как пишут его на иконах — все это было национально до гениальности. На портретной выставке, занявшей все залы Таврического дворца — будущей Государственной Думы — были собраны тысячи русских портретов; здесь были и Петр Великий, и Мазепа, семейные портреты наших Императоров — проходила в лицах вся история России. То же было очень красиво и национально.

Государственные экзамены держал я весной 1897 года. Председателем Испытательной Комиссии был профессор финансового права в Харьковском Университете Алексеенко, будущий председатель бюджетной комиссии в Государственной Думе. Своей простотой, приветливостью и беспристрастностью, он приобрел большую любовь среди экзаменующихся. Один мой знакомый студент, встретив А. в коридоре Университета перед экзаменом, и не знал еще в лицо председателя экзаменационной комиссии, разговорился с ним, охарактеризовал некоторых из экзаменаторов словом «сволочь» и в заключение заявил, что вся его надежда на одного Алексеенко. Когда он его потом увидел за председательским местом в актовом зале, он так смутился, что отложил свои экзамены на год.

Грозой на экзаменах считались профессора уголовного права Сергеевский и Фойницкий; у каждого была своя манера экзаменовывать; первый задавал разные вопросы, что называется, выпытывая, расспрашивал, чтобы судить об общем развитии студента; второй предоставлял, молча во все время ответа говорить студенту все что он знает по билету и затем, ничего не говоря экзаменуемому ставил отметку. Я сам видел, как один студент очень бойко и долго без запинки говорил Фойницкому на тему вытянутого им билета; я был уверен, что он выдержал экзамен, а оказалось, что профессор поставил ему «неудовлетворительно». В зависимости от вкуса и наклонностей студентов, одни стремились попасть к Сергеевскому, другие к Фойницкому. Мне было безразлично, и я попал в очередь к Сергеевскому; я сделал какую-то ошибку, но ловко, путем софизмов, из нее вывернулся. Сегеевский мрачно заметил мне, что мое остроумие следует приберечь для гостиных разговоров с дамами, но поставил мне все-таки «весьма», что подтверждает мое мнение о нем, как о профессоре, прежде всего дорожившим не зубрением студента, а общим его развитием.

Я получил в итоге столько же отметок «весьма», сколько удовлетворительно, что давало право на диплом первой степени; на одно «весьма» меньше, и я имел бы диплом второй степени. Объявляя о результатах экзаменов, Алексеенко, с улыбкой читая мои отметки, заметил: «затрачено сил ровно столько, чтобы получить первую степень; ни на одну единицу больше». Страшный вздор (Л. 100) я нес только по церковному праву, вытянув билет, совершенно мне неизвестный. Протоиерей Горчаков, не выносивший инородческих фамилий, и после того, как я, по собственному выбору, рассказал бракоразводный процесс, заявил: «ах досадно, такая хороша фамилия, а «весьма» поставить невозможно», Алексеенко же добавил: «это потому, что я вчера видел его уже в Аквариуме».



Никакой особой радости от окончания Университета, в особенности, конечно, сколько-нибудь похожей на впечатление выхода из гимназии, я не испытал; было просто чисто физическое удовольствие отдыха, после экзаменационного утомления, довольно сильного, так как в мое время на третьем курсе юридического факультета, никаких экзаменов не было, кроме одной письменной работы по избранному самим студентом предмету, главная же масса предметов относилась к выпускным «государственным» экзаменам; приходилось при выпуске держать уголовное и гражданское право, уголовный и гражданский процесс, римское, международное, полицейское, торговое, финансовое и церковное право, а также и один письменный экзамен не помню по какому именно предмету. Хотя я занимался и среди года, не откладывая всего к концу его, как поступали очень многие студенты-юристы, но все же зубрить приходилось достаточно.

Студенческая жизнь сама по себе была так свободна, столь мало стеснена какими-либо формальностями, присущими гимназиям, что радоваться окончанию этой жизни было, очевидно, нечего; над всем преобладало сознание, что юношеский период жизни закончен и что наступает пора какой-то долгой, на несколько десятков лет, работы.

Тем не менее, когда я переехал в Киев, где должен был отбывать воинскую повинность, я почувствовал себя на такой свободе, какой я никогда в жизни более не испытывал. У меня обнаружился серьезный дефект правого глаза /неправильный ассигматизм/, и не только мои планы относительно поступления на военную службу отпали, но даже и отбытие воинской повинности являлось для меня не обязательным; процедура освидетельствования и зачисления в ратники ополчения 2-го разряда, заняла все-таки несколько месяцев. Я решил не терять времени зря и готовиться к магистрантскому экзамену по излюбленному мною государственному праву. На этой почве состоялось домашнее знакомство мое с заслуженным профессором Романовичем-Славотинским; от него началось во мне, оставшееся на всю жизнь, преклонение перед памятью не оцененного историей Императора Николая I. Профессор в то время уже заметно дряхлел, и, по свойству стариков, отчетливо хранил в памяти далекое прошлое, забывая ближайшие события. Иногда, уйдя, после обеда, отдохнуть, он выходил к чаю, дружески приветствовал меня и удивлялся, что я так долго у них не был, совершенно забывая о нашем обеденном разговоре. Хорошей патриархальной чисто русской семьей было супружество Романовичей, такое же уютное, как их одноэтажный особнячок на Мариинско-Благовещенской улице с прелестным палисадником на улице. Из таких особнячков с палисадниками состояли в то время очень многие тихие улицы Киева; это давало им вид веселого сада; теперь на их месте безобразные громады «коммерческих» домов, преимущественно безвкусно вычурной еврейской архитектуры.

Но как я ни интересовался государственным правом, а живая жизнь была сильнее его, притягательнее, особенно при неискоренимой склонности моей ко всякого рода приключениям и наличности в Киеве многих старых друзей. Начались различные экскурсии в окрестности Киева, сопровождавшиеся служением Бахусу, начались различные веселые похождения

и в пределах города. Произошел даже ряд скандалов, финалом коих явилось разбирательство дел у мирового судьи — популярного в Киеве, в особенности среди студентов, Бухгольца, близкого друга генерал-губернатора Драгомирова. Через Бухгольца прошел ряд студенческих поколений. Одно дело послужило даже темой для водевиля, написанного участником события. Студент Ч., теперь не безызвестный профессор, по натуре своей хитрый, жизнерадостный хохол, решил, не знаю по каким причинам, повести на один скандальный студенческий процесс к Бухгольцу своих знакомых девиц, в том числе и предмет своего увлечения, кажется, даже невесту. При допросе свидетелей, толстая содержательница одного из веселых домиков Киева начала жаловаться на безобразное поведение обвиняемых студентов в ее «заведении»; «вот», добавила она к своим lamentациям, «студент Ч. здесь в публике; он ведь тоже частый мой гость, а почему его никто ни в чем не обвиняет? Потому, что он всегда держит себя прилично». Говорили, что Ч., несмотря на свою большую голову и вихры, весь как-то, при этом помазании, скрылся в студенческом воротнике.

Один из самых близких моих друзей, Сережа Кистяковский, весьма серьезно занимавшийся медициной, в кутежные периоды, особенно был неудержим. В нашей компании он отличался каким-то утрированным инфантилизмом и ненавистью к дамам, так называемого, общества. Он был очень интересен по наружности, не так красив, как другой друг мой — его брат Леонид любимец Киевских дам, никогда, однако, не впадавший в пошлый дон-жуанизм, но интереснее Л. мужественностью своих черт. Он тем более привлекал внимание дам, что бы недоступен; в бытность его еще в гимназии, какая-то гимназистка держала пари, что поцелует его на улице; оригиналка эта, действительно, осуществила свое намерение, но подверглась тем же последствиям, как и гр. Нулин. Когда С. упрекали в грубости, хамстве, он спокойно отвечал: «равноправие — так равноправие». Человек этот по энергии, способностям и неуравновешенности, был совершенно незаурядный. Он, подобно В. Ковалевскому, пошел во флот, пробыл в Порт-Артуре все время его осады; очевидцы рассказывали мне о его необычайной храбрости: раз пришлось ему пойти с корабля в больницу в то время, когда по узкой тропинке разрывались в разных местах японские снаряды; все советовали ему переждать сильный огонь; он махнул рукой, сказал, что на войне на это нельзя обращать внимания и, к ужасу присутствующих, пошел, при чем видны были все время разрывы то за ним, то перед ним. На мои расспросы об этом эпизоде в Петербурге, он отвечал неохотно и очень кратко: «было очень страшно». Погиб он, как и Ковалевский, в Гельсингфорсе, во время большевизма.

Так вот, на какой-то выставке, между одним из наших товарищей (Л. 103), очень грубым типом, и какой-то польской четой супругов, произошло столкновение; студент обратился к супруге с каким-то циничным предложением, была вызвана полиция, началось составление протокола; супруг-поляк оказался большим формалистом: ломанным русским языком он требовал занесения в протокол дословных выражений оскорбителя; мы принимали в деле участие в качестве свидетелей; вдруг Сережа, к тому

времени уже хорошо позавтракавший, озверел, напал на поляка за искажение им русских, кстати сказать, совершенно неприличных, слов, и, в конце концов, обвинил его в призыве к мятежу против России; возникло новое дело по обвинению нас, ибо мы все решили поддержать С., в оскорблении национальных чувств поляка, чуть ли не оклеветали его и т. д. Дело поступило к Бухгольцу. С. на другой день, раскаиваясь в своем поступке, который находился в полном противоречии с его гуманитарными взглядами и присущей ему вообще деликатностью, заперся, по своему, в квартире, где он сам, в виде покаяния, мыл ежедневно полы, ползая на четвереньках, неделю, иногда больше.

С течением времени, занятия мои государственным правом уменьшались, а кутежи усиливались.

Вернул меня к порядку — дог. Однажды, не совсем твердой походкой, возвращался я домой; был первый снег, образовавший гололедицу. На Пушкинской улице я повстречался с удивительно симпатичным молодым догом; я его погладил, он радостно подпрыгнул и положил мне лапы на плечи; я поскользнулся и сел на тротуар; дог окончательно развеселился и начал со мною продолжительные игры, закончившиеся уже не на тротуаре, а посреди улицы; малейшая моя попытка встать кончалась, к величайшей радости дога и проходящей публики, прочным сидением на грязной мостовой.

Такие эпизоды заставили меня задуматься над Киевской моей системой подготовки к магистрантскому экзамену и ускорить возвращение в столицу, где я решил зачислиться на службу по Министерству Внутренних Дел.

В это время моя бабушка гостила у знакомых ее в Петербурге и писала мне, что И.Н. Дурново, бывший тогда Председателем (Л. 104) Комитета Министров, ее старый близкий знакомый, советует мне поступить в Переселенческое Управление; это учреждение только что было тогда сформировано и считалось в бюрократических кругах модным. Я вооружился энциклопедическим словарем, почел несколько статей о Сибири и та испугался мысли об отъезде в холодные далекие страны, о разлуке с близкими людьми, друзьями, с Петербургом Киевом, что категорически отверг данный мне совет. От судьбы нельзя уйти — через год я занимался уже именно делами инородцев Азиатской России, а через восемь лет был на службе именно в Переселенческом Управлении.

По прибытии моем в Петербург, Дурново расспрашивал бабушку, почему я не зайду к нему, но я так боялся высшей бюрократии, так любил свободу, что бабушке пришлось убеждать важного сановника, что я человек кабинетный, предан всецело науке и не умею себя держать обществе. Хорошее представление об ученом составил бы Дурново, если бы мог меня увидеть во время игры с догом!

В январе 1898 года я был причислен к Министерству Внутренних Дел с откомандированием для занятий в Земский Отдел, т. е. выполнил план, задуманный еще в Университете.

Отсюда начинается моя двадцатилетняя гражданская служба.